Поездка в Афины

Генрик Сенкевич

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Очерк из книги «Письма из Африки» о Греции 1875 года.

- Генрик Сенкевич
  -
- notes
  - 1

Генрик Сенкевич
Поездка в Афины

Очерк из книги «Письма из Африки»

…Выезжая из Стамбула в Афины на французском пароходе Donnaï, я любовался самым чудным видом, какой только можно встретить на свете. Небо, в течение нескольких недель покрытое тучами, наконец совсем прояснилось и зарумянилось великолепною вечернею зарёй. Ближайший азиатский берег был залит светом, Босфор и Золотой Рог казались огромными золотыми лентами, а Пера, Галата и Стамбул, со своими башнями, куполами и минаретами мечетей, тонули в золоте и пурпуре.

Donnaï поворотил свой нос к Мраморному морю и начал слегка волновать воду, осторожно протискиваясь между паровыми и парусными судами, ладьями и каиками. Константинополь — один из лучших портов Европы, и поэтому у подножия этого города, царящего с высоты своих холмов под двумя морями, кишит другой город — город кораблей. Как над тем городом возвышаются минареты, так над этим возвышаются мачты, а на них — целые радуги разноцветных флагов. И здесь шуму не меньше, чем там, на горе. И здесь, как там, смесь языков, рас, оттенков кожи, покроев одежды. Здесь увидишь все типы, какие можно встретить в прилегающих трёх частях света, начиная от англичан и кончая полудикими обитателями Малой Азии, которые стеклись в столицу, чтобы в качестве «каикчи» зарабатывать себе кусок хлеба.

Мы миновали мыс, на котором возвышается Старый Сераль. Пера, Галата и Стамбул начали сливаться в один скученный город, пределов которого невозможно обнять глазом. Ни Неаполь, ни какой другой город в свете не может равняться с этою великолепною панорамой. Все описания, начиная от Ламартина до Амичиса, — только бледное подобие действительности, ибо слово человеческое — только звук, и ни этих красок, ни этих форм, то стройных и воздушных, то гигантских и грозных, обрисовать оно не может. По временам мне казалось, что целый город очарованных дворцов висит в воздухе, а это чувство сменялось впечатлением такого величия, громадности и могущества, как будто из этого города ещё изливался страх на

всю Европу, как будто в башне Сераскериата и ныне, как встарь, решались судьбы мира. С Мраморного моря теперь уж только самые крупные здания возможно было различать невооружённым глазом: Старый Сераль, часть стен Едикуле с семью башнями, святую Софию, Сулеймание и башню Сераскериата. Мало-помалу подножие города начинает скрываться под водой; прежде всего исчезает окружная стена, потом ряд низких домов, потом более высоких, потом мечети и их купола. Кажется, город тонет в море. На небе также темнеет, только ещё на стрельчатые минареты падают ещё красные и золотые отблески. И скажешь: это тысячи гигантских свеч, зажжённых над невидимым городом.

Это минута, когда муэдзины выходят на балкончики минаретов и, призывая правоверных к молитве, возвещают на все четыре стороны света, что Бог велик и что божья ночь спускается на землю.

И приближалась ночь, ночь божья, мирная и звёздная. Это пора размышления, а так как судьбы будущего мира или войны действительно взвешиваются в окрестностях этих равнин, то мне трудно было отделаться от политических предположений. Но я не буду заниматься ими, — это дело газет. Если действительность и обманет их, то они и тогда едва ли станут относиться недоброжелательно к своей профессии. Мне, как беллетристу, приходит в голову мысль скорее литературного свойства, и я спешу хоть отчасти набросать её на бумагу.

Итак, пришло мне в голову, что этот блеск вечерней зари, это море, дворцы и минареты, купающиеся в золоте и пурпуре, что-то такое, также реальное и действительное, как и дохлые собаки, десятками валяющиеся на улицах Стамбула. А всё-таки существует школа писателей, представители которой, вернее — её серый конец, предпочитают описывать дохлых собак, чем не менее реальные заходы солнца, голубую морскую ширь и подобные чудные виды. Почему? Вероятно, существуют разные причины, но между ними непременно есть и та, что для изображения красоты во всём её блеске нужно иметь больше силы, больше красок на палитре, чем для изображения мерзости, и что вообще легче возбудить тошноту, чем душу.

Но я вовсе не хочу заводить полемику, — я только набросал свои мысли, а затем последую за своим пароходом. Почтовые суда, выходящие вечером из Стамбула, перед утром приходят в Дарданеллы, а на рассвете вступают в Архипелаг. Теперь мы в Дардавеллах. Пароход идёт узким проходом, между берегов, на которых виднеются форты и чёрные пасти пушек, направленные на пролив. Мы останавливаемся, потому что судно перед выходом из пролива должно предъявить свои бумаги и объяснить, откуда и

куда идёт. Берега представляются бесплодными, загромождёнными скалами, которые постепенно выветриваются и обсыпаются. Весь ландшафт, — тем более, что солнце теперь только что всходит и ясно обрисовывает все его черты, — грустный и убогий. Самый пролив уже Босфора, даже Вислы. По правой стороне белеют домики Галлиполи, запущенные, нищенские, — это видно и отсюда. И снова приходит в голову вопрос, который на Востоке является почти всюду, — в Рущуке, в Варне, в Бургасе и в самом Стамбуле: неужели это те края, за которые пролито столько крови, что ею можно было бы наполнить весь этот пролив? Неужели из-за этих городов, наполовину обратившихся в руины, населённых полунищенским населением, из-за этих бесплодных полей и скал, тратятся миллионы, содержатся гигантские армии и жизнь нашего поколения проходит в тревожном незнании, когда наступит день и час?.. В Дарданеллах более, чем где-нибудь, всякий человек должен задать себе такой вопрос. Есть местности дикие, отмеченные особым отпечатком меланхолии, но нет ни одной, которая так ясно говорила бы: я — воплощённая старость и истощение, я — разрушение и нищета! А между тем в этом проливе лежит суть всего вопроса. Дело идёт не столько о Босфоре, не столько о самом Константинополе, сколько о Дарданеллах. Эта узкая полоска земли, этот скалистый коридор — единственное окно и дверь, которая ведёт из здешних сторон на Божий свет.

— Вы читали когда-нибудь о тех шнурках, которые султаны посылали когда-то своим великим визирям или вождям, проигравшим битву? — спросил меня мой товарищ по путешествию, англичанин. — Вот этот пролив такой же шнурок: им можно задушить Чёрное море и самый Константинополь.

Тем временем мы вышли в Архипелаг, то знаменитое море, о котором древние греки говорили, что оно — подобие неба, — так же усеяно островами, как небо звёздами. Вероятно, поэтому ему и дали название архиморя. Показались скалы Лемноса, первый остров, который находится почти у самого выхода из пролива. Немного северней также ясно рисовался жемчужный Имброс, с другой стороны — ближе к азиатскому берегу — Тенедос. Знамя пророка ещё развевается здесь, но надо всем Архипелагом царит старогреческий дух, старогреческие предания и песни. Может быть под впечатлением этих воспоминаний эти берега кажутся непохожими на то, что недавно представлялось взору, более соответствующими тем контурам, какими воображение очерчивает греческие берега. Всё, что видно — голо и бесплодно, как окрестности Дарданелл, — ни деревьев, ни жилищ человека;

земля серо-оливкового цвета, как будто бы выжженная и полинявшая от солнца, — но всё это очерчено длинными и смелыми прямыми линиями, как будто то были элементарные образцы первоначального дорического стиля. Пригорки громоздятся одни на другие, — кое-где выдаётся кверху едва заметная в голубой дали вершина какой-нибудь более высокой скалы. Надо всем этим безыскусственная и важная меланхолия. Когда-то, по преданию, в вулкане Лемноса стучали молоты Гефеста. Может быть именно здесь он и выковывал славный меч Ахиллеса? Теперь в кратере Мосихлоса вулкан давно угас и только предание пережило вулкан и самого божка.

Направо и налево — всё острова, но я не стану перечислять их, чтобы не утруждать внимания своих читателей. Взгляд в Архипелаге хватает дальше, чем в других европейских морях. Даже самые отдалённые острова представляются так чисто и ясно, что можно отличить чуть ли не каждую впадину скалы и кустарники, покрывающие бока обрывов. Здесь столько света льётся с неба на землю, что и самая Италия не может дать о том никакого понятия. Море и небо не только лазурные, но и горящие; в других местах солнце светит и жжёт, а тут оно, кажется, проникает во всё окружающее, пропитывает его, насыщает и сливается с ним, не давая места ни малейшей тени. Поэтому здесь ничто не обрисовывается так резко, как, например, у берегов Средиземного моря. Все очертания, на которые падает солнечный луч, в одно и то же время и необыкновенно ясны, и, несмотря на это, мягки.

Архиморе не всегда бывает спокойно. Те самые вихри, которые занесли к циклопам судно Одиссея, и теперь иногда мчатся между островами как стада перепуганных коней: волна ревёт и брызжет белою, как снег, пеною на самые верхушки прибрежных скал. Но в минуту, о которой я говорю, лазурная ширь была гладка как зеркало, и только за пароходом тянулся широкий пенистый след. В течение целого дня ни малейшего дуновения ветерка. Пароход шёл как по озеру, поэтому вся палуба была усеяна пассажирами. Не было недостатка и в щёгольских костюмах, потому что афинянки, больше чем другие дочери Евы, любят при каждом удобном случае напяливать на себя всё, что есть лучшего.

Раут на палубе тянется до позднего вечера. Греки легко завязывают знакомство, может быть для того, чтоб удовлетворить свою врождённую болтливость. Любезность их чересчур назойлива, и поэтому едва ли может считаться искреннею. К тому же они вообще чересчур хвастаются не только своею бывшею, но и теперешнею цивилизацией. Что ни минута, они перечисляют

чужеземцу имена теперешних греческих знаменитостей, известных, якобы, и в Европе, и удивляются, если кто-нибудь не слыхал о них. Такой-то и такой-то художник совершенно убил Жерома своею последнею картиной, такой-то и такой-то учёный за несколько лет до Пастёра начал прививать бешенство, — что, говоря мимоходом, тем более удивительно, что этой болезни нет на юге. Слушая подобные рассказы, подумаешь, что Бог когда-то вершил свои дела при помощи французов, а теперь, только с гораздо меньшим успехом, помогает грекам. Если теперь на свете совершается что-нибудь капитальное, поищи хорошенько — и найдёшь грека.

Ночь на Архипелаге такая же чудесная, как и день. Такие ночи Гомер называл «амброзианскими». Подножия островов окутываются лёгкою мглою, но луна ярко серебрит вершины гор; на небе ни одного облачка, а море всё испещрено серебряными полосами. Одна, самая широкая, идёт от месяца, остальные от звёзд. Явление это на севере неизвестно, но на южных морях я не раз видал эти серебристые дорожки. Мы плывём среди такой тишины, что слышен каждый поворот винта. На горизонте можно заметить несколько судов, или, вернее, их фонари, которые, словно разноцветные, колеблющиеся точки, повисли в воздухе.

Суда эти по большей части также, как и мы, идут в Пирей, куда мы намереваемся поспеть к рассвету. И действительно, при первом луче солнца, пароходный винт умолкает, мы поспешно выбегаем на палубу… Пирей… Аттика. Я уверен, что даже самый хладнокровный человек не без волнения вступает на эту землю. Когда-то римскому папе поднесли знамя всего Ислама, добытое под Веной, и просили от него в замен какой-нибудь реликвии. Папа отвечал послам: «Не вам просить у меня реликвии; возьмите горсть вашей земли, — она вся пропитана мученическою кровью». Точно также и об этой аттической земле можно сказать, что каждая её горсть пропитана греческою мыслью и искусством. Вы, вероятно, помните «матерей» из второй части «Фауста», — эти первообразы всего существующего за гранями мира, настолько величественные в своём неопределённом одиночестве, что даже страшно становится. Аттика, ни безграничная, ни страшная, всё-таки интеллектуальная мать всей цивилизации. Без неё неизвестно, где бы мы были и чем бы мы были. Она была солнцем старого мира, а после своего исторического заката оставила такую блестящую зарю, что из её блеска мог возникнуть ренессанс после средневекового мрака. Говорят: Аттика, вместо — Греция, потому что чем Эллада была для всего мира, тем Аттика была для Эллады. Одним словом, мы сошли на землю и очутились у источника.

Другие цивилизации, на соседних азиатских и африканских материках, посреди других племён, дошли до уродства, — аттическая одна осталась человеческою; те гибли в различных фантасмагориях, — она одна признала основанием науки и искусства мир реальный, а вместе с тем сумела из этих чисто-реальных элементов создать величайший лад, почти божественную гармонию. Она умела быть божественною, не переставая быть человеческою, и это объясняет её значение.

В минуту, когда я сходил на землю, на небо выступала «розовоперстая» заря. Из Пирея в Афины можно ехать по железной дороге, но гораздо лучше взять экипаж и видеть всё, что придётся увидать в течение получасового пути.

Дорога из Пирея, обсаженная по обеим сторонам платанами, идёт посреди так называемой аттической долины, которую орошает, или, вернее сказать, мог орошать Кефиз. Здесь всякое собственное имя пробуждает в памяти эхо и историческое воспоминание. Если бы не так, то Кефиз не внушал бы бóльшего уважения; в Польше есть мосты, которых на самом деле нет, — Кефиз такая река, которой тоже на самом деле нет, то есть в её иссохшем и выжженном русле не струится ни капли воды.

Равнина, по которой мы едем, — узкая. По левую руку, по направлению к Элевзинскому заливу, видны горы Дафни и Поикилен, по правую — медоносный Гимет и Пентеликон, который и теперь, как в старину, снабжает Афины мрамором. Страна кажется спаленною солнцем, пустой и бесплодною. Поля, холмы и скалы носят пепельный оттенок, чрезвычайно нежный, с примесью лазури. Это — цвет, в котором в Греции тают все цвета, как на островах, так и на материке.

На половине дороге оливковый лесок кажется также осыпанным пеплом. А над всем этим — лазурь без облачка, не такая густая как в Италии, зато, как я уже упоминал, во сто раз более лучезарная. Земля — точно разорванная чьей-то рукой. Скалы выветриваются, осыпаются и разрушаются. Всё это придаёт окрестности вид руин и пустыни. Но всё-таки хорошо… Ей к лицу и эта тишина, и дряхлость, сонные оливковые рощицы и бесплодные скалы.

Главная дорога идёт до железнодорожного вокзала, лежащего в конце улицы Гермеса; но, не доезжая до города, мы повёртываем вправо и выезжаем на бульвар, обсаженный перечными деревьями. Наше внимание привлекает отвесная скала с рядом желтоватых колонн, соединённых выщербленными архитравами. Всё это, румяное под лучами зари, с необычайной ясностью и красотой рисуется на фоне голубого неба, — не особенно большое по размеру, но великое из великих по

гармонии, — просто-напросто божественное. Драгоман, сидящий на козлах, повёртывается к нам и говорит:

— Акрополь!

Ближе к нам, на Керамике, возвышается храм Тезея, лучше всего сохранившийся изо всех памятников древнего мира. Потом что ни шаг, то какие-нибудь остатки: пелазгийские стены, скала Пникса, пещера Сократа и другие пещеры, глядящие из скал на дневной свет своими тёмными пастями. Под самою горой меньший горный хребет заслоняет линию Парфенона, — зато открывается вид на целый хаос руин Одеона Ирода и театра Бахуса. Глаз бежит с одного места на другое, воображение работает, желая воскресить угасшую жизнь, мысль не может охватить всего, и поневоле ограничиваешься простым восприятием впечатлений. Чувствуешь только, что сюда действительно сто́ит приехать, что тут не будешь бегло осматривать развалины с Бедекером в руках и со страстным желанием в душе поскорее возвратиться в отель. Но экипаж быстро проезжает мимо этих полубожественных скал и вдруг мы оказываемся в новом городе, в новых Афинах.

Поговорим сначала о нём, прежде чем возвратимся в Акрополь.

Я приехал сюда, так привыкший к восточной грязи, в особенности к грязи Стамбула, которая превышает силу нерв человека, что испытал самое приятное разочарование. Прежде всего, неправда, что в Афинах столько увидишь зелени, сколько тебе подадут салату к обеду. Может быть потому, что во всей стране её мало, город напряг все усилия, чтобы свои площади и улицы осенить деревьями. Я въехал в город мимо Акрополя и Олимпиона, по Панэллинскому бульвару, который представлялся сплошною зелёною лентой. Перечные деревья, с ярко-зелёными, изящными листьями, напоминают плакучие ивы и придают бульвару какой-то весенний вид. Повсюду сады, а в садах пальмы, чёрные дубы, кактусы и алоэ. Правда, всё это покрыто серою пылью, несущеюся сюда от скал и от развалин, точно эти покойники хотели сказать всякому живому существу: «земля еси и в землю пойдёши», — но я здесь можно найти и тень, и прохладу. Главные улицы города широкие, дома большие, ослепительной белизны, богато выложенные мрамором, который до сих пор добывают из обнажённых боков Пентеликона. Постройки здесь не лишены ни красоты, ни лёгкости, — исключение представляет только королевский дворец. Стены его тоже из пентеликонского мрамора, но стиль тяжёлый, казарменный, и дворец не только не украшает главной площади Конституции, но прямо портит её. Правда, за дворцом, с одной его стороны, разбит действительно

великолепный королевский сад, но зато спереди тянется настоящая песчаная пустыня вплоть до городского сквера. Чтобы ничто не нарушало впечатления пустыни, на ней стоят огромные пальмы, стройные, ярко выделяющиеся на сером фоне песка. Как бы то ни было, но Афины город чистый и совсем европейский, только созидающийся под влиянием легко понимаемых соображений, по образцу старинной греческой архитектуры, и это придаёт ему великолепный вид. Повсюду попадаются колонны дорические, ионические и коринфские, фризы, которые начал делать человек и доделало солнце. Университет, а в особенности академия изящных искусств своими гармоничными формами напоминают великолепные греческие храмы.

Возле портика возвышаются две колонны из пентеликонского мрамора, с золочёными абаками. На одной стоит гигантская Афина-Паллада, со шлемом на голове и с луком в руках, на другой — такой же гигантский Аполлон с лирой. Ночью, при свете луны, мрамор этих статуй кажется светло-зелёным и настолько волшебно-лёгким, будто они готовы отделиться от земли. Может быть специалист архитектор нашёл бы какие-нибудь недостатки в фасаде этих зданий, но, как бы то ни было, они составляют одну из самых красивейших декораций города, какие мне приходилось видеть.

Самую богатую часть города, то есть прилегающую к площади Конституции и королевскому дворцу, затем Панэллинский бульвар, бульвар Университетский, улицу Стадион и многие другие вплоть до площади Согласия, застроили богатые греки, живущие в Стамбульском Фанаре, Одессе, Марселе и других портовых городах. Эти люди, при врождённой грекам способности к торговле, нажили себе миллионы, но, надо отдать им справедливость, не променяли на них свой греческий дух. Одесский или марсельский дисконтёр, который мог бы считать себя потомком Мильтиада и указать на Марафон, потомком Леонида и указать на Фермопилы, потомком Фидия или Апеллеса и призвать в свидетели развалины Акрополя, — имел за собою то, чего не купишь ни за какие деньги. И вот, благодаря этому славному прошлому и памяти о нём, в Афины стекались миллионы изо всех стран, среди диких ущелий прокладывались железные дороги и шоссе, в городах, населённых дикими паликарами, возникли школы, а на развалинах старых Афин — новые Афины.

Здешние купцы и торговцы поселились преимущественно вдоль улицы Гермеса, который, как известно, ещё во время Зевса был покровителем купечества. Вообще, вся нижняя часть города, к Гаре и Керамике, находится под его патронатом. Здесь и базар,

напоминающий другие восточные базары; здесь роится подвижная толпа, размахивающая руками так сильно и болтающая так громко, будто желает оглушить всякого проходящего. Жизнь и торговля идут на улицах, как вообще в восточных городах; вечером, когда дневной жар спадёт немного, движение ещё более усиливается. Лавки открыты до поздней ночи. Яркие огни газовых фонарей освещают склады товаров, великолепных овощей и цветов.

Впрочем с четырёх часов дня народ высыпает и на улицы более богатой части города. Стадион, на котором я живу, — модное место прогулок; на тротуарах его трудно протолкаться, а по середине улицы тянутся экипажи один за другим. Женщин вообще меньше, чем мужчин, в особенности между пешими. Может быть это остатки восточных влияний, а может быть обычай запирать женщин в домах возник и укрепился ещё со времён турецкого владычества, когда молодой женщине небезопасно было попадаться на глаза бим-пашей и беев. Красивых женских лиц мало. Типы скорее армянские, чем греческие. Времена Фрин и Лаис давно прошли и ни один ареопаг не оправдал бы теперешней гречанки по милости её красоты. Я читал, что жительницы Мегары и древней Лаконии, а также и некоторых островов, сохранили до сих нор древний тип эллинской красоты, но в Мегаре я этого не заметил, а на берегах Эврота, а также на островах, не был.

Зато между мужчинами много фигур и красивых, и диких в одно и то же время. Конечно, светлокудрый Ахилл не походил на теперешний тип, но Канарис мог походить. Здесь многие ещё носят албанский костюм, состоящий из фустанеллы, то есть белой юбки, доходящей почти до колен, фески и кафтана, сплошь вышитого шёлком или золотом. Вокруг бёдер идёт пояс, за который когда-то затыкали целый арсенал кинжалов и пистолетов, а теперь затыкают носовой платок. Несмотря на то, что носовой платок является несомненным прогрессом сравнительно с прежними временами, люди носящие фустанеллу — завзятые консерваторы и противники западных влияний. По образцу этих паликаров одеты целые отряды войска, и это придаёт всему городу оригинальный вид. Греки живущие в деревнях, несмотря на разбойничьи инстинкты, которые, кажется, не везде угасли, честны, трудолюбивы и верны раз данному слову; что же касается горожан, то репутация их известна всему свету. Прожив с ними около месяца, я не могу судить об этом по собственным наблюдениям. Но даже и этого краткого срока было достаточно, чтобы заметить, что ни в каком другом городе ни купцы, ни содержатели гостиниц, ни проводники, ни банкиры —

не говорят так много о своей честности, как в Афинах. Это кажется немного подозрительным.

Новейшие путешественники, которые провели в Греции долгое время, или те, которые пробыли мало, да обладают большою смелостью, изрекают приговор прямо неблагоприятный для новейших греков.

Недавно умерший Эдмон Абу написал о Греции жидкую, но любопытную книжку, полную остроумных замечаний. Злоязычный «внук Вольтера», как его называли, несмотря на своё старание быть беспристрастным, чересчур жестоко относится к потомкам древнего афинского демоса. По его мнению, теперешние греки своим искусством лгать могут пристыдить и своего праотца Улисса, и его покровительницу Афину-Палладу, и древних критян, которые, по словам Эпименида, так отличались в этом искусстве. Кроме того, они жадны сверх всякого описания, людей другой национальности терпят постольку, поскольку их можно обирать. С точки зрения храбрости, Канарис, по утверждению Абу, был исключением, а потому-то греки говорят о нём так громко. Абу идёт дальше и говорит, что они всегда были трусами, даже во время осады Трои. Ни рыцарских чувств, ни справедливости у них нет ни на грош, зато они питают слепое уважение ко всякой силе и конечно, соответственно с этим, презрение к немощи, бедности и слабости.

Между тысячью анекдотов, он приводит один, который и я позволю себе повторить, тем более, что он близко касается нас.

После бури, которая потрясла Габсбургскую монархию в 1848 г., горсть поляков поселилась в Афинах. Люди эти умирали с голоду и от лихорадки, потому что климат Афин вреден для чужеземцев. Однако и те крохи, которые перепадали им, становились грекам костью в горле. Оскорбляли они несчастных на каждом шагу, вызывали на дуэль и не являлись в назначенное место. Но однажды в Афинах случился пожар, который угрожал всему городу. Греки сбежались отовсюду, чтобы глазеть на огонь, жестикулировать и болтать, — поляки (прошу помнить, что я цитирую Абу) бросились в середину пламени и погасили его с большим риском для собственной жизни.

А теперь пусть кто-нибудь угадает, какая награда встретила их.

Им приказали оставить Грецию!

Поступили с поляками так потому, что после пожара они прославились на счёт греков, что слухи о них разошлись по всей Европе, а это могло бы обратить всеобщее внимание, а может быть и вызвать какую-нибудь дипломатическую ноту со стороны австрийского правительства, в то время весьма нерасположенного

к польским выходцам. И этого было совершенно достаточно.

Если слова Абу справедливы, — а он вовсе не был таким нашим другом, чтобы выдумывать анекдоты, клонящиеся к нашему возвеличению, — то нужно признать, что потомки изобретателя логики не перестали быть логичными, как сам Стагирит, но традиции Аристида исчезли у них без следа. Всё-таки в том, что говорит о греках вышеприведённый автор, а также и многие другие, несомненно кроется много преувеличения, а может быть и ещё больше недоразумения. Прежде всего, всякий такой путешественник приносит сюда с собою уже готовую этическую мерку, весьма обширную, потому что она выработалась под влиянием западной цивилизации и её утончённой моральной культуры. И вот таким-то аршином и меряют общество, которое ещё так недавно выбралось из неволи, поистине постыдной и развращающей, и меряют тем более хладнокровно, что дело идёт не о своих, а о чужих. Забывают также и о том, что как, например, понятие о чести и рыцарских требованиях было чуждо древнему миру, так точно может существовать целая сфера понятий моральных, чуждых восточным народам; что эти народы, в особенности греки, завоёванные варварским племенем, не имели, точно говоря, в течение долгого времени, никаких понятий, а руководствовались, — потому что должны были руководствоваться чем-нибудь, — только зверским инстинктом самосохранения. Этот инстинкт соответствовал данному положению вещей и разрешал вопросы как этики, так и логики.

Дикие народы повсюду одинаковы. Когда один миссионер потребовал от новообращённого негра, чтобы тот привёл ему пример того, что, по его понятию, кажется злом, негр подумал-подумал и ответил:

— Если кто-нибудь украдёт у меня жену, — это зло.

— Прекрасно! — сказал обрадованный миссионер. — А теперь представь мне пример добра.

Дикарь не задумался ни на минуту.

— А добро, — если я у кого-нибудь украду жену.

Вот и вся логика народов диких или дичающих.

И эта логика широко распространена на Востоке.

Но оставим греков в покое. Старый анекдот Пешеля я привёл потому, что отголоски такой логики мы слышим и в частной и общественной жизни. Она забирает всё больший и больший голос, прокрадывается на столбцы газет, растёт как волна прилива, с каждым днём затопляет всё более пропасть между злом и добром, между справедливостью и несправедливостью, парализует способность ориентироваться, искажает и ведёт к полнейшему омрачению моральное чутьё общественного мнения,

которое, в конце концов, не знает или, вернее, не хочет знать, за кем ему идти и кого запятнать клеймом позора. Теперешний мир нельзя назвать диким, но может быть, с известной точки зрения, он дичает.

Абу писал свою книгу тридцать лет тому назад. Теперешнее греческое поколение не поступило бы так, потому что оно цивилизуется в хорошем значении этого слова. Возрождённое, молодое, полное энтузиазма, оно вырабатывается и постепенно совершенствует в себе все стороны духа, а между прочим и моральное чутьё. Равновесие здесь ещё не нарушено. Оно перестало быть диким, у него уже есть стыд в глазах.

Да и кроме того, есть ещё одна великая особенность, которую никто не может отнять у современных греков, — патриотизм, и патриотизм этот тоже основывается на любви к древней Элладе, как и к современной.

Дело не в том, что нить традиции здесь связана искусственно, не в том, что учёные утверждают, будто бы в жилах теперешних греков течёт только капля крови их эллинских предков, а на самом деле они представляют помесь рабов разных национальностей, албанцев и славян. Греки, как наследники этой земли, хотят быть и наследниками её традиций. Поэтому их патриотизм — не растение, прицепляющееся корнями только к поверхности земли, — он глубоко укоренился и обладает непоколебимою силой. Обладает потому, что, оставаясь историческим и желая вместе с тем идти вперёд, в будущее, он понимает, что смысл его существования, живоносный источник — там, в Акрополе…

Пойдём и мы в Акрополь, потому что из этого источника всякий может почерпнуть что-нибудь, запастись хоть художественными впечатлениями.

Вся аттическая равнина так невелика, что пассажиры судов, останавливающихся в Пирее только на шесть часов, имеют возможность приехать сюда, осмотреть святую скалу, храмы Юпитера Олимпийского и Тезея, музей, — и возвратиться вовремя на пароход. У меня в распоряжении было три недели, — тем больше я имел времени не для научных исследований, а для простого обзора. Но гораздо легче пройти от площади Конституции до Акрополя, чем описать его. Но я не эллинист, — я просто хочу описать свои впечатления, а не распространяться о памятниках древности, — о них и так написаны целые тома — плоды усидчивых и долголетних трудов.

Извивающаяся дорога идёт под гору, поросшую агавами и кактусами. Перед собою и над собою я вижу только гигантскую стену, отчасти древнеэллинского происхождения, отчасти

возведённую римлянами и даже турками. Из промежутков между скалами выглядывают треугольные крыши храма. Когда я шёл, вокруг было пусто, ни души живой, время полуденное и страшная жара, несмотря на то, что стояли уже первые дни ноября. У боковых ворот дремлет старый ветеран; я прохожу мимо и огибаю домик, возле которого навалены груды мраморных обломков. Дорога заворачивает ещё раз, я всхожу по лестнице и оказываюсь в Пропилеях, откуда взгляд обнимает всю верхнюю площадку. Первое впечатление: руина! руина! мёртвая тишина! смерть! Некоторые из наружных дорических и внутренних ионических колонн Пропилей держатся только тяжестью своих камней; стены растресканные, выщербленные, просвечивающиеся насквозь, обломанные. За славными воротами нет ни фута свободного пространства. Всё завалено обломками колонн, фризов, капителей, каменьями, вывалившимися из стен. Всё это, за исключением нескольких храмов, нагромождено одно на другое, всё лежит в таком диком беспорядке, о котором даже и римский форум не может дать ни малейшего представления. Путешественнику приходит в голову, что здесь произошло какое-то страшное сражение гигантов, столкновение гигантских сил, от которых гора тряслась, стены разрушались, наконец рухнуло всё и остались только одни развалины.

Итак, первое впечатление, которое испытываешь пройдя Пропилеи, это — впечатление катастрофы. Здесь поневоле идёшь тихо, потому что всё окружающее мертво до такой степени, что даже твоя собственная жизнь, твоё собственное движение кажется чем-то чуждым и не соответственным этому месту.

Если тут встретишь знакомого, то с ним и говорить не захочется, а только посмотреть вопросительно в его глаза, сесть где-нибудь в тень и следить, как солнце затопляет своими лучами развалины.

Я говорил уже, что свет здесь не падает, а льётся потоками, в особенности в полуденную пору. И могло бы казаться, что этот горячий, живой поток представляет что-то противоположное этой руине, опустошению, этой мёртвой тишине. Нет! И руина, и опустошение через это приобретают ещё бóльшую выразительность, почти неумолимую. Сидишь, смотришь на затопленный светом мрамор Парфенона и Эрехтейона, и наконец из развалин что-то выходит, приближается и вступает в тебя. Тогда тебе хорошо, потому что в тебя вступает спокойствие, но такое могучее, каким только обладают камень и руина.

Я думаю, что у кого больше исстрадалась душа, тому здесь должно быть лучше. Хочется прислониться головой к пилястру колонны, попеременно то закрывать, то открывать глаза, — и

успокаиваться. Всё это делается всё больше родным, всё приязненней смотрит усталый путник на эти смелые линии Парфенона, на белый Эрехтейон, на лежащие внизу Пропилеи. Нужно видеть, чтобы понять, как эти золотые от старости здания рисуются на солнце и на лазурном небе, каким покоем веет от этих архитравов, от этих рядов колонн и фронтонов! Простота, покой, важность и почти божественная гармония. Сразу трудно заметить это; волшебство действует исподволь, но тем сильнее проникает в сердце и наполняет его упоением. И узнаешь ты, путник, что не только один покой дали тебе эти дивные творения искусства, но и напоили тебя своею красотой.

Вот впечатления, через которые проходишь на Акрополе. Когда ты находишься там, то тебе и в голову не придёт раскрыть Бедекера и искать в нём пояснения подробности. Только дома прочтёшь, что храмик Бескрылой Победы только недавно возник из развалин, что лорд Эльджин увёз для Британского музея одну из дивных кариатид, подпирающих правый портик Эрехтейона, что туда же отправились парфенонския метопы, что в Эрехтейоне был гарем пашей и т. п.

В первую минуту тебе всё равно, что Парфенон построен в чистом дорическом стиле, Эрехтейон и храм Победы в ионическом, а в Пропилеях находятся колонны обоих орденов. Ты знал это уже до прибытия в Афины. Здесь веет на тебя прежде всего общий дух, или вернее — гений древней Эллады, и дыхания его ни отгонять, ни анализировать ты не хочешь. И вдруг воображение начинает рисовать, каким Акрополь был во времени Перикла, когда всё стояло на месте, когда существовали храмы, от которых теперь и следа не осталось, когда существовал целый лес статуй, когда Парфенон не был ободран ото всех своих украшений, когда на его фронтонах можно было видеть изображение рождения Афины, а с другой стороны — её спор с Нептуном, а шлем Афины Промахос был виден даже с моря. Представим себе какую-нибудь торжественную процессию: жрецов, архонтов, воинов, музыкантов, народ, быков с золочёными рогами, ведомых во святая святых храмов, цветочные венки и живописно драпирующиеся складки материи. Но я предпочитаю вообразить ночь и ясно-зелёный свет луны, играющий на мраморе. Трудно поверить, чтобы люди могли дойти до таких пределов искусства, но объяснить себе это можно. Греческая мифология была поклонением силам природы, то есть простым пантеизмом. Но в душе грека артист пересиливал философа, поэтому поэты облекали отвлечённые понятия в человеческое тело, одаряли их человеческою мыслью, а потом пришло пластическое искусство и породило такую дивную

каменную сказку.

Афина умела выбрать место для своего города. Какой фон для всех этих храмов и статуй! С одной стороны видно море, которое при здешней атмосфере кажется совсем близким, с другой — вся Аттика как на ладони: горы Гимета, дальше Пентеликон, на север Парнес, а к юго-западу, к саламинскому ущелью, Дафни. Надо всем этим вечно-ясное небо, да чёрные силуэты орлов, которые до сего дня своим криком прерывают торжественную тишину Акрополя.

Впечатления, которые испытываешь при виде других развалин, являются только слабою тенью тех, что возникают в душе при виде Акрополя. С Мнезиклом, Иктином и Калликратом не мог сравняться никто ни до Перикла, ни после него. Они создали не только Парфенон, Эрехтейон или Пропилеи, но вместе с тем воздвигли архитектурный догмат, которого должны были придерживаться все архитекторы древнего мира. Римляне позволили себе прибавить свою собственную арку, возводили колизеи, термы, цирки, круглые храмы, вроде пантеона Агриппы, — вот и всё. Но вообще они шли по следам своих бессмертных предшественников и от догмата их не отступали. Они могли превысить Акрополь только размером, и делали это даже в Афинах.

Ниже Акрополя, на восток от обрыва скалы, над Иллисом, возвышается храм Юпитера Олимпийского, законченный только при императоре Адриане. Из ста двадцати колонн, которые его поддерживали, теперь осталось только 16, - 13 с одного конца и 3 с другого. Колонны эти чисто-коринфского стиля, шириной 6 фут. и 60 вышиною. Это был величайший храм на всей равнине, орошённой Кефизом и Иллисом. Тит Ливий говорит о нём, что своими размерами только он один соответствовал величию бога, которому был посвящён (unum in terris inchoatum pro magnitudine dei). И очень может быть. Зевс, как отец Афины, главный изо всех богов, был достоин огромного храма.

Я не говорю, чтобы творцы Акрополя были изобретателями греческой архитектуры. Они явились только последними и наивысшими её представителями, утвердили её догмат, тем самым, чем Фидий в своё время был относительно скульптуры. Храм Тезея, похожий на Парфенон, только меньших размеров, построен раньше Парфенона, а также и множество других храмов, после которых только кое-где остались одинокие колонны. Этот Тезейон — один из более сохранившихся памятников древности. В Акрополе была крепость, и значит он более подвергался всем опасностям войны, а в новейшие времена даже и бомбардированию, — Тезейон стоял посередине города. Он

подвергался скорее внутреннему изменению, так как его обратили в христианский храм и, конечно, выкинули вон все его статуи. Теперь в нём хранятся разные гипсовые слепки, да остатки барельефов, украшавших когда-то другие храмы. Я говорил, что храм Тезея напоминает Парфенон; но так как он стоит на невысокой площадке, то и не производит такого импонирующего впечатления, тем более что и размеры его гораздо меньше. У Парфенона было восемь колонн по линии фронта и семнадцать по боковым линиям, — в храме Тезея шесть и тринадцать. Наконец, он был и не так богат, потому что Фидий изукрасил оба фронтона акропольского храма статуями, а все метопы барельефами, — в храме Тезея этих украшений было гораздо меньше.

С площадки храма Тезея видны скалы Пникса. Когда-то это было место народных собраний. Каменные ступени, вырубленные в разных местах, указывают, как подвигалась народная толпа, чтобы достичь до самой высокой террасы, с которой можно видеть прямо под ногами Афины, по правую сторону — реку Музейон, прямо — Акрополь. Зданий здесь нет никаких, видны только следы огромной трибуны, которая в древности называлась Бема, и на которой восседал народ во время совещаний. Эти скалы совершенно лишены растительности и представляются совершенною пустыней: я не нашёл на них ни одной человеческой души, городской шум сюда не доходит и тишину прерывает только крик орлов, парящих в высоте.

Не так тихо, но так же пусто на ареопаге, лежащем на склоне акропольской горы. В самом городе и его окрестностях есть ещё памятники достойные внимания: стоя Адриана, стоя Аттала, Агора, башня Ветров, небольшой храм Лизикрата, арка Адриана и памятник Филопапа, наконец недавно открытое кладбище Гагия Триада, на котором можно видеть несколько красивых, даже очень красивых памятников. Но я не берусь описывать это, я отдаю только отчёт о своих впечатлениях и главным образом остановился на Акрополе, который сильнее говорит душе, в котором сосредоточивается всё лучшее, что только создала эллинская цивилизация в области пластического искусства, вся сила греческого гения. Фукидид имел в виду, вероятно, Акрополь, когда говорил, что если Афины будут разрушены, то по оставшимся развалинам потомки будут полагать, что здесь был город вдвое более сильный, чем на самом деле. Но Фукидид ошибался: Афины оказались гораздо сильнее. Древний город подвергся разрушению, лежит в развалинах, но его гений дал слишком много, чтобы человечество забыло, чем оно обязано ему. Оно оставляло его в пренебрежении и так чересчур долго, но есть

обязанности, которые напоминают о себе не только уму, но и совести. Благодаря им, эту славную землю вырвали из-под власти турок. Не один только политический интерес побуждал воскресить Грецию, — для Европы это был настоятельный долг, требующий уплаты, это был вопрос совести. Есть вещи, которых даже самая податливая совесть снести не может, — и вот наступила минута, когда загрохотали пушки под Наварином. Я уверен, что если бы не этот огромный credit[1], который современная цивилизация записала на счёт Греции, если бы не её слава и дела, не песни Гомера, не память о Марафоне и Саламине, не эти руины акропольских чудес, — то паши до сих пор держали бы свои гаремы в Эрехтейоне, и с высот Акрополя развевалось бы знамя пророка. И если я скажу, что теперешнюю Грецию создали Гомер, Мильтиад, Леонид, Фемистокл, Фидий и другие герои и гении, не подходящие ни под какую мерку, то это не риторическая фигура, а историческая правда. Трудясь для славы своего народа, они, сами не зная того, трудились для его возрождения, — и вот благодаря этим бессмертным труженикам и живёт теперешняя Греция.

Перевод Вукола Михайловича Лаврова

notes

Примечания

1

кредит